

Глухарь

Лев
Кожевников

рассказ

В ПОСЛЕДНЮЮ военную зиму из-за метелей почту в Мокеевку доставляли не часто. Глухая деревенька, до ближайшего жилья двенадцать вёрст с лишком, да ещё зимой, по целику... Но когда доставляли, бабы, расхватав письма, газеты, всей деревней, с ребятами набивались к старикам Зяблых в избу, послушать, что вычитал из газет дед Агафон, старый служивый. Как он сам говорил, ещё восемьсот девяносто седьмого года призыва.

Стоя подле окна, дед Агафон всякий раз важно и долго водил по затрёпанной карте толстым корявым пальцем, то и дело сверялся в газетке с данными Совинформбюро. Так что иная бабёнка, не выдерживая подчас затянувшегося молчания, жалобно вздыхала:

– Ой, да чё это будет-то? Сказывай уж... не томи, Агафонище. Не железные, чай.

Но с того дня, когда старики Зяблых получили последнюю, третью по счёту похоронку, старый солдат занемог и почти не вставал. Старуха, хоть и сильно сдала за это время, всё ж таки пересилила себя и вновь принялась хлопотать по хозяйству. Уже зима пошла на убыль, солнце на дворе веселей глядело, а Агафон всё лежал в тёмном углу на кровати сырой, бесформенной глыбой, дышал хрипло, со свистами и не жаловался, как обычно.

Весну он заметил, когда возле трубы потекло, и мокрое пятно на побелённом потолке начало разрастаться. Агафон долго не мог уразуметь, в чём дело. Глаза его, бесцветные и уже не от мира сего, бессмысленно пялились на сырое пятно, которое подбиралось к той стенке, где висели фотографии всех троих, мёртвых теперь сыновей. Однажды Агафон поднялся-таки на дрожащие от слабости ноги, постоял, привыкая, и с превеликими трудностями, отступаясь,

хватаясь за косяки и перильца, выбрался наружу. Там и встал, опершись на старухино плечо, надсадно откашливался.

Зябловская избёнка, обращённая ликом к солнцу, уже успела обнажить верхнюю часть завалянки, а нижние венцы сруба подёрнулись нежной изумрудной моховицей. Агафон долго разглядывал коварную зелень, потом со скрипом и стоном кой-как нагнулся, поскрёб зелёное окаменелым ногтем.

– Сопрела, окаянная, – пробормотал он. – Вконец сопрела.

Агафонов указательный палец легко, словно в хлебный мякиш, ушёл в торец бревна, пошевелил там вбитый для бельевой верёвки гвоздь. Впрочем, старик скоро потерял интерес к избе и к тому, что творилось вокруг. Тихо стоял, понутив голову, и не слышал, как лепечут под снегом весенние ручейки, сливаются, журчат и устремляются вниз, в Таволжанку, поднимают на себе лёд.

Но под вечер, когда Агафон опять лежал в своём углу под лоскутным одеялом, весна-таки явилась к нему. Явилась задним числом, из молодости, как воспоминание...

...В алом свете зари, едва, бывало, слиняют ночные звёзды, взрывалась по весне деревня петушиными разбойными воплями. А с другого берега, из-за Таволжанки, с утренних сосняков и вырубков, уже гудят навстречу им мощные тетеревиные хоры. Потом на деревне поднимаются бабы. Звон подошников, скрип колодезных журавлей, мычание, потревоженный гогот... А в предрассветном тумане где-то по берегам тяжело бултыхнётся лещ и, сверкнув боком, уйдёт отвесно в чёрную воду. Оба они – он и старший, Николка, придерживая ружья, едва не бегом спускаются к реке, садятся в дощаник. В деревне топят печи, и весенний ветерок разносит окрест ядрёные мясные запахи: жареной, пареной, тушёной дичины...

Дед Агафон застонал, завозился на постели и сел. Старуха опрометью кинулась к нему.

– Господи, спаси-помилуй! Стряслось чего, отец родимый? Или болит где? А? Грелочку надо ли, излажу... Сейчас я, мигом...

Агафон замотал плешивой головой, тоскливо вздохнул.

– Супчику бы мясного, – тяжело ворочая языком, захрипел он, – тарелочку. А там и помереть...

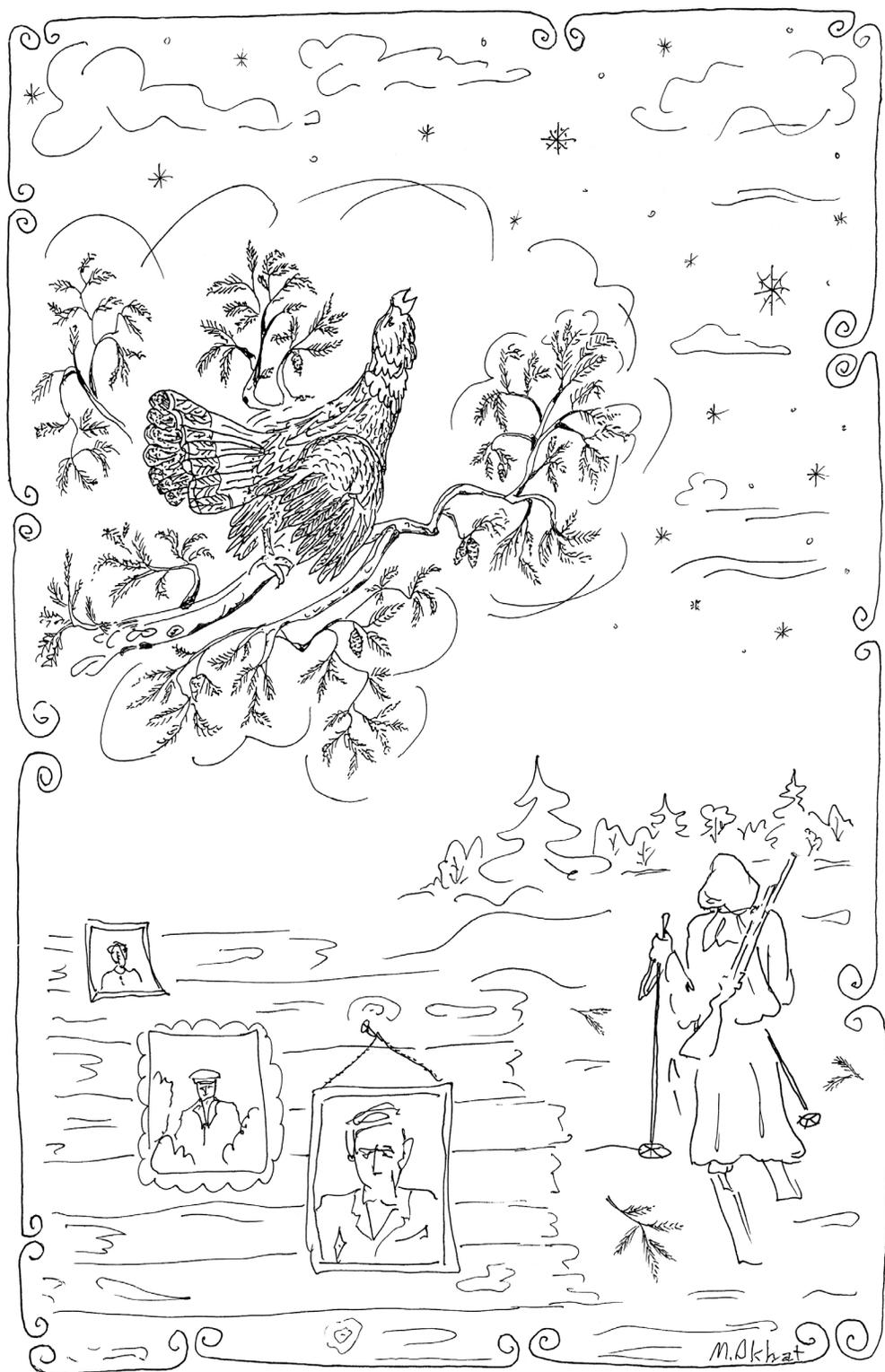
Поначалу старуха оторопела, потому как уже третью неделю старик, кроме воды, в рот ничего не брал – «душа не принимает». А потом обрадовалась: «Дай-то бог, супчику похлебают, глядишь, оживёт». Она засуетилась, захлопотала, наострилась было бежать к соседкам... Да так и села на лавку. Вот тебе на, совсем сдурела старая. Куда бежать, ежели последнего петуха на деревне ещё осенью прошлого года срубили? На картошке вся деревня, считай, полгода сидит. И варят, и парят, и пекут... Да мало ли? А всё одно мяса из картошки не слепишь.

– Какое теперь мясо, касатик ты мой, – вздохнула старуха, стягивая с головы шаль. – Кошки и те перевелись.

Но дед Агафон уже не обращал на старуху внимания. Он сидел на кровати оживлённый, глаза блестели, и несколько раз даже принимался чего-то рассказывать. Говорить начинал тихо, ласковым голосом, широко поводя руками и подмигивая.

– По весне это как талым-то потянет, да почка на вербе набухать зачнёт, – вкрадчиво повествовал Агафон, – так оне и заиграют, и заиграют... Хвосты раскинут, фу-ты ну-ты! И фырчат... На лево-направо, налево-направо, и эдак повёртываются важнецки, и топорщатся, топорщатся на снегу друг против дружки, даром что без лампасов. А потом грудь в грудь прыгают, ажно косточки трещат-пощёлкивают. Бородой трясёт кажный, стращает...

Перепуганная старуха не тотчас сообразила, что Агафон не вовсе рехнулся, а рассказывает кому-то, и довольно складно, про глухариные свадьбы. Видно, недаром с утра выползал старый из избы. Она тихонько всплакнула,



перекрестилась и старательно взялась слушать. А Агафон уже говорил строго, словно бы кого поучая:

– И где оне кормятся, засветло норови попасть. Да не вверх, не на вершины смотри-то, а под ноги. Они наброды днём делают, следы всякие оставляют, ровно кто пятерней по снегу начёркал. Это самое он и есть, глухарь натоптал, крылом намазал. А уж коль нашёл, Николка, токовище, далеко не отходи. Жди зорьку...

«Вона ты с кем говоришь-то, касатик!» – охнула про себя старуха.

Дойдя до зорьки, Агафон распалился пуще прежнего. Он то озирался, сидя на постели, и чего-то выслушивал, приставляя ладонь к уху, то пытался изобразить вдруг три прыжка и замирал до нового колена в глухариной песне, зло шипел на старуху, когда та, наскучив ждать, начинала ёрзать, скрипеть на лавке. Потом Агафон вдруг с досадой хлопал себя по ляжкам, и лицо его вытягивалось, будто он провожал птицу глазами... «Ии-эх, улетел чертяка, так-распротак!» И всё начиналось заново. В конце концов, старик решил воспроизвести и самоё песню. Он долго прикладывался, как начать, потом вдруг надул щёки и смешно отклячил нижнюю губу... Тихий звериный шип, затяжной, похожий скорее на шорох листвы, пополз было по горенке. И оборвался. С налитыми кровью глазами, давясь воздухом, дед Агафон повалился на подушки и долго судорожно дёргался, надсадно хрипя и откашливаясь. Перепуганная вконец Агафониша не знала, что и делать.

Кашель унялся сам собой. Дед Агафон лежал тихий, просветлённый, виновато глядя на старуху. Дескать, видишь, старая, духу не хватило, не вывел.

Через полчаса, отлежавшись, он потребовал снять со стены старый дробовик, перехваченный в двух местах медной проволокой, и подать ему. Перечить Агафониша не посмела. Ещё через полчаса дед Агафон начал подыматься с постели.

– А ну, старая... собирай котомку.

– Да ты что? Ум-то где у тебя, козёлдохлый?! – заголосила было старуха.

– Цыц! Кому говорено! – просипел дед и сердито шагнул к бабе. Но изба качнулась вдруг, поплыла из-под ног, и дед Агафон со стоном, тяжело повалился на пол, подминая сунувшуюся было к нему старушонку...

Оказался Агафон Зяблых на редкость тяжёл, словно вытаявшая из-под снега осиновая колодина. Пришлось старой бежать за соседками, но и втроём насилу взгромоздили его, едва живо-го, на кровать.

К ночи сильно подморозило. Проводив соседок, старуха постояла, тоскливо глядя на конопатое в звёздах небо, набрала из поленицы беремья дров и унесла в избу.

Печь запылала жарко и весело. Красноватые отблески разбежались по стенам и потолку, заплясали на лоскутном одеяле, высвечивая то дедов нос с отвислой щекой и голым черепом, то изуродованную венами, плетью повисшую руку. Старуха подоткнула Агафону подушки повыше, чтобы не задыхался, не хрипел, и присела на кровать подле. Пригорюнилась: «Господи, господи, помрёт дед – и вовсе одна останусь».

И где там теперь младшенький, Ванятка? Может, не прибранный лежит вовсе. Эдакие метели до самого рождества держались, поди-ка сыщи.

Наутро она обегала все до единой избы, спрашивала мясного. Предлагали кто крупы, кто мучицы, кто масла подсолнечного к картошке, а Анна Воронина, добрая душа, сунула ей тайком от дитёнков полдесятка окаменевших с мороза яиц. Постояла старая, постояла, глянула на жёлтые от недоедания, прозрачные мордочки – и трясущимися руками, торопясь, выложила на стол и яйца, и крупу, и масло подсолнечное. И, не слушая хозяйку, вышла вон.

Домой добиралась кой-как, едва переступала ногами. Раза два крепко спотыкнулась на ровном месте, набила о наст шишку, да так, что в голове загудело. И осталась сидеть, тупо глядя в схваченный морозом сугроб.

Рассвет быстро набирал силу. Уже алел восток над речкой, топились печи, гремела какая-то баба ведром по обмёрзшему срубам, и откуда-то издали ка-далёка вдоль крутых берегов, чуть слышное, несло тетеревиное бормотанье. Небо с той стороны было весёлое, розовое, а запад по-прежнему был пугающе чёрным.

Заслышав «бормотанье», старуха насторожилась, откинула со лба шаль. Вишь ты, и впрямь тетерев! Она резво поднялась на ноги и засемила к обрыву. Здесь, над речкой, бормотанье раздавалось ещё слышнее. Оно то усиливалось до булькающих, хмельных переливов, то снова глохло где-то далеко, в поросших ольшаником сизых делянках...

Дома, не успев ни отдышаться, ни перекрестить лба, старуха перво-наперво взгромоздилась на лавку, сняла с гвоздя дробовик. Жидкие седые косички, выбиваясь из-под платка, липли к лицу, лезли в рот. Держа дробовик, как хват, поволокла к деду.

– Агафон... Агафоша?! Бормочет тетерев-то окаянный, – едва не плача от радости, запричитала она в поросшее седым волосом ухо. – На Манефинских вырубках бормочет. Слышь-ко? Да пробудись ты, протри глаза-то скорее! Глянь... косачина рядом бормочет. Манефа-то где кривая сгибла, смекаешь? Версты две ходу.

Пока спросонья дед Агафон соображал, что к чему, старуха кинулась в чулан, приволокла в избу патронташ. Патронташ оказался пустой. Старуха шмякнула его под лавку, принялась шарить по поллицам. Там, в пыли, хорошенько повозив по углам рукой, нащупала три латунных патрона, позеленевших от старости.

Дед Агафон оживился и с помощью старухи сел. Один патрон он забраковал сразу: то ли воск подтаял, то ли ещё что, но пуля из него выкатилась. «Да и на кой она ляд, пуля-то...» Два других дед долго с сомнением изучал, бормотал чего-то, скрёб зелёные капсулы ногтем. Старуха в нетерпении всё совала деду под нос ружьё:

– Лешего тебе в их, в патронах-то? Ты сюды вот, сюды глянь. Где тут чего? – Наконец не выдержала. – Дурень ты старый, ведь улетит, улетит окаянный! Давно уж бормочет.

Агафон даже головы не повернул. Он долго обмозговывал что-то, прикидывал про себя и уж потом, когда старой и вовсе стало невмоготу ждать, шевельнул седой бровью, глянул в её сторону.

– Блиновские Починки помнишь? Где лога-то крестом легли? Ну да, Ванька там, Дёмин, покос держал. Вёрст пять, больше не будет. А теперь мотай на ус... Ещё при Ваньке там ток был. Глухариков, почитай, десятка два. Выбить их Ванька не выбил, потому как мужик с мозгой. Самку ни одну не трогал, заглавного токовика тоже не шевелил. Стало быть, ток сохранился. Их теперь там штук с полста наплодилось. Так-то вот. А ближе, считай, ничего и не сыщешь. Блиновские Починки – самое подходящее место.

Мало-помалу Агафон распалился вновь, а распалившись, изобразил опять в лицах глухариную охоту, растолковал каждый шаг и едва ли не заставил старую скакать по горнице с ружьём, скрадывая воображаемого глухаря. А за того косача, что бормотал с Манефинских вырубков, Агафон выбрал бабку с головы до пят: ты, дескать, такая-сякая, седьмой десяток в лесу живёшь и никак в толк взять не можешь, что косач с дерева, да ещё зимой, на белом, за пять вёрст всё насквозь видит. Он, дескать, тебя заметил, когда ты ещё от Анны Ворониной за ружьём бежала... Глупая, тьфу!

На том и порешили.

На следующее утро, затемно, старуха, засветив лучину, стала собираться на Блиновские Починки. Оба патрона, аккуратно завернутые в тряпицу, положила в один карман, а в другой – две варёные картофелины и кусок хлеба с солью.

Дед Агафон, скосив глаза, с беспокойством наблюдал за её сборами. Потом повозился, приподнялся на локте,

вглядываясь в суетливую бабкину тень, и прохрипел:

– Однако неладно делаем... чую, неладно.

И зашёлся в кашле. Напуганная его голосом старуха остановилась, недоумённо глядя в угол, но в разговор вступать не стала. Поправила лучину, пододвинула на столе к Агафону чугун с картошкой поближе.

– Ты вот што, – виновато пробубнил дед. – Ты хоть галифе мои поддень, што ли?

– Да тьфу на тебя, – осердилась было старуха. Но, подумав, напаялила всё ж таки Агафоновы галифе.

Было уже светло, когда она тронулась, наконец, со двора. Из опустевшей избы в окошко Агафон долго следил, как его бабка, маленькая, в чёрной до пят юбке, часто подпираясь батожком, засеменяла к обрыву. Наст под ней не проваливался, шла, как посуху, и охотничьи лыжи, вдетые одна в одну, с уложенным поверх дробовиком, волочились на верёвочке сзади. Агафону словно кто на горло наступил: такая была она жалконькая.

После её ухода в пустой избе остались у порожка стоптанные домашние бродни, носками чуть внутрь, один впереди другого, так что виднелось деду за тем, как они стояли, вся её поникшая с годами, скособоченная фигурка.

...С противоположного берега Таволжанки в сторону Блиновских Починков начиналась неширокая дорожка, по которой встарь вывозили на телегах железную руду. Вот по этой дорожке, которую в Мокеевке почему-то называли Хорошавинской, и ударилась Агафониха, намереваясь достичь Починков до того, как наст под ногами начнёт оседать. Поначалу приходилось тяжельно, всё в гору да в гору. А потом пообвыкла и за какой-то час отмахала километра три с гаком. И когда остановилась на полянке дух перевести да подняла глаза кверху – так и обомлела. Небо над полянкой разалелось, да по алому полю берёзки пушистые тонким серебром вытканы. Веточка не дрогнет. А как иней с какой

осыплется, радуга в инистом облачке падает, мерцает до самого низу и словно бы в снег у комля уходит.

Много ли мало ли проторчала старая под берёзами, как вдруг спохватилась – уже и небо голубым стало – охнула и побежала дальше.

На Блиновские Починки, где Ванька Дёмин покос держал, да где лога крестом легли, добралась только к полудню. Снежная корка на открытых местах сильно размякла, начала проваливаться, и старуха насилу доволокла по сугробам отяжелевшие в непривычных мужских штанах ноги. Но потачки себе не дала, малость посидела на лыжах, передохнула и поднялась, пошла глухарей искать. Медленно двигалась она по гребню оврага в негустом еловом подросте. И чем глубже в овраг, тем сосняк становился реже, корявей, а подрост мало-помалу переходил в ельник, тоже, впрочем, негустой, с проплешинами и полянами. На другой стороне оврага, далёкой, залитой солнцем, ярко рдели в хвойнике медные стволы сосен, разворачиваясь по гребню весёлым жёлтым частоколом.

На одной из таких полян старуха заметила полусгнившее остожье, обнесённое едва заметной из-под снега изгородью, и, сама не зная зачем, начала сползать по крутому склону вниз, то хватаясь за колючие ветки, торчащие из снега, то упираясь ногами в корявые тугие стволы. Здесь, на теновом склоне, наст держал крепко, но, потеряв опору, она заскользила вдруг на спине, да так, что не чаяла уже и костей собрать. Наконец, вся измятая, исцарапанная, провалилась в какую-то заснеженную впадину и осталась лежать.

Лыжи с привязанным поверх дробовиком катились далеко внизу, звонко ударясь о стволы. Кой-как оправившись, разговаривая сама собой, старуха покорно полезла следом.

– Господи, Господи! Да куда хоть, куда идти-то? Овраги эти окаянные, пока их обогнёшь, версты три крюку дашь, не меньше. По солнцепёку-то, по колен в снегу... Поди-ка отыщи, где у

них найдено. Это легко сказать – найти. А поди попробуй. Да и есть ли они тут, может, перелетели куда ино? Сам же, помнится, сказывал, с сосняка на сосняк кочуют, ежели почка местами помёрзла или ещё чего... О господи!

И вдруг споткнулась на полуслове. Да так с разинутым ртом и встала. Встала, как вкопанная, боясь двинуться и даже шевельнуть рукой. Откуда-то сзади... сбоку, она сама не знала почему, но сразу так решила, кто-то упорно и тяжело смотрит ей в спину. От этого взгляда кожа на спине съёжилась, словно бы её коснулись потными, ледяными пальцами...

Старая только сейчас заметила, что стоит на неширокой, в пятнах солнца проплешине. Кругом ельник вперемежку с горькой осиною, и осинник помельче – снизу начисто обглодан зайцами. Тут же, меж стволов, жёлтый заячий помёт.

Дрожа каждой жилкой, готовая вот-вот закричать, она медленно повернула голову и... ничего не увидела. А взгляд чей-то был, но теперь уже в лицо и, как ей показалось, шёл из кустов, с дальнего угла полянки. Однако никого вокруг не было, разве лишь из-под снега перед кустами торчала как-то непонятно вывороченная коряга с бурым, в руку толщиной, обрубленным корнем. Старуха шевельнулась уже, хотела спрятиться и задом-задом убраться с окаянной поляны. И так бы, наверное, и сделала, но обрубок вдруг дрогнул и как бы слегка вытянулся чуть-чуть вверх... Мелко задрожавшей рукой, не решаясь поднять её выше, ко лбу, старуха трижды перекрестила себе живот. «Лешак знает, может и почудилось чего с перепугу-то», – с тоскливой надеждой подумала она, уже не сводя с коряги напряжённых глаз. Но как только коряга утвердилась в поле её зрения, бурая кора на ней, словно бы выступая из тумана, покрылась вдруг пером, а корявый обрубок, который она вначале приняла за корень, стал шейей с бородатым куриным утолщением на конце. Метрах в двадцати перед старухой сидел на снегу здоровенный, кражистый глухарина. И наблюдал. Вытянутая

вполоборота мощная шея, глаз-бусинка – всё дышало насторожённым, внимательным любопытством...

Старая так и обомлела: «Вот уж воистину сказывают – не глазами, а головой человек видит. Сколько разов глазами натыкалась, разглядывала, а поди ж ты... Коряга и коряга. Тьфу! Пропади ты пропадом, как напугал, окаянный! Вишь, сидит, думает, поди: что, мол, за чуда за такая тут объявилась».

Спотыкаяюсь, проваливаясь на залитой солнцем полянке, она направилась прямо к глухарю. Ей почему-то казалось, что она сейчас вот подойдёт к нему, возьмёт, как курицу, под мышку и понесёт домой. Она даже представила себе, как появится с таким-то добром дома. То-то старик обрадуется. Вишь, здоровущий какой, пожалуй, и не донести будет.

Глухарь краем глаза внимательно следил за старухой и, чем ближе она подходила, совсем по-куриному то втягивал, то вновь вытягивал шею. Когда же расстояние между ними сократилось до десяти шагов, он вдруг ворохнулся и, забавно переваливаясь на снегу, заковылял в сторону.

– Бусый... бусый... бусый... – встревожилась старая, всё ещё не веря, что глухарь может вот просто так взять и уйти. И заметно наддала ходу. Однако, с виду неуклюжий, глухарина передвигался довольно быстро. Его широкая спина уже замелькала в реденьких кустиках за полянкой.

– Буся... буся... буся... – Старая проворно продиралась сквозь кусты следом.

Глухарю наконец надоела эта глупая игра вдогонки, он присел, подпрыгнул и, тяжёлый, каждый взмахом словно выстреливая из-под крыла, поднялся и низко полетел вдоль оврага в сторону. Старуха так и села в снег, едва не клача от обиды. Впрочем, глухарь не улетел далеко. Он сел шагах примерно в семидесяти, с треском и грохотом забрался в самую густерню. И только сейчас старая спохватилась, что её ружьё вместе с лыжами въехало куда-то в сугроб да

там и осталось. Выбравив себя, на чём свет стоит, кой-как поднялась и пошла к ружью. Но перед тем оглянулась ещё раз и хорошенько приметила место, куда сел глухарь.

Дробовик свой вместе с лыжами она отыскала не сразу, а когда отыскала, оказалось, что ствол его до самого бойка забит снегом. Пришлось выламывать прут и ивовым прутом выковыривать из ствола снежную пробку. Пока разыскивала, ковырялась да пока возвращалась по размявшему снегу на старое место, времени прошло немало. И уж сколь ни лазила потом по этой проклятой густерне, волоча за собой ружьё, сколь ни тарасилась, ни озиравалась, увидеть ничего не смогла. Глухарина словно в воду канул. То ли улетел ещё дальше в лог, то ли затаился где, да так, что пока не наступишь на хвост, не выгонишь.

После этого лазанья у старой только-только хватило сил выбраться на солнышко да наломать поперек лыж пихтового лапника. Тут и прикорнула, свернувшись калачиком, задремала от усталости, едва приклонив на пихту седую голову. И уже сквозь дрему, не в силах ни разлепить глаз, ни пошевелиться, почувствовала, как ожил без неё огромный лес: какие-то отовсюду послышались шорохи, писк, чья-то перебежка, странное гуденье и в порывах ветра однообразный стон и скрип умершего на корню дерева. Тем временем солнышко успело откатиться на запад, запунцовело, и в его красноватых лучах сугробы окрасились в утомительный для глаза тревожный оттенок. Даже хвойники из ярких, почти изумрудных, стали тёмно-рыжими и отбрасывали на восток длинные тёмно-рыжие тени. Вдобавок ко всему сильно похолодало, и с запада порывами начал дуть стылый, пронзительный ветер.

Сон сразу как рукой сняло, и только сейчас старая поняла, почему ещё днём её потянуло к остою: там, возле остою, всё хоть немного человеческим духом пахнет, как будто и не совсем одна.

Завозилась она, со скрипом в костях подымаясь с лежанки, снарядилась,

куда бы бежать, да так и села. И слёзы из глаз посыпались.

«Куда бежать-то, куда?! Без толку всё, ноги только мять понапрасну. Да и Агафонушко не раз и не два сказывал, коли наброды глухаринные где сыскала, сиди себе и жди зорьку. И с места чтобы не двигаться. Как темнеть зачнёт, так они сами себя объявят. Тут уж ухо остро держи, не прокарауль песню».

Посидела ещё с полчаса, картофелину варёную сжевала, пососала хлебную корочку и, притомившись без дела, собралась идти. К тому же и сидеть на одном месте стало больше невозможным. Так намёрзлась, что на железное ружьё, воткнутое прикладом в снег, и глянуть холодно.

Мороз и в самом деле разыгрался не на шутку, зорька уже в полнеба, и из глубины оврага по склонам поползли вверх тяжёлые ночные сумерки. А глухарей всё нет и нет. Да ещё слова Агафоновы вспомнились: глухарь, дескать, утром поёт на восток, а к ночи на запад, да не при всякой погоде ещё поёт. Если зорька сухая, морозная, да ветер навстречу дует, он так и просидит молчком, голоса не услышишь... Затосковала старая, окончательно потеряв веру в глупую свою затею, и уже в который раз выбрала себя за того глухаря, которого днём так бестолково выпустила из рук.

«Вот теперь и сиди тут, грызи локти-то. А то бы уж возле дома была. Ох, господи, дура набитая!»

Да тут ещё с осины, сверху откуда-то, капать начало. И без того знобко, зуб на зуб, кажись, не попадает. Утёрлась старая рукавичкой, отодвинулась, подумала про себя: «Может, хоть успею на дорогу выбраться, пока совсем не стемнело. А то ведь как отсюда, из оврага этого, выберешься, так и дух вон. Не молоденькая, чай, по горкам-то лазать...»

И вдруг опять капнуло.

«Вот те на. Это откуда бы тут воде быть? Наст звон какой схватился, конно пройдёшь, не обломится».

Глянула старуха вверх – и действительно, по осине, по стволу водичка струится. С нижней ветки капля по капле

на неё падает. Потом перестало. Только было голову опустила, задумалась, мимо носа мелькнуло что-то и в снег шлёпнулось. Старуха даже вздрогнула. Посмотрела опасливо, нагнулась, рукой пощупала. Помяла... Тёплое... Понюхала – помёт!

«Батюшки-светы! – задрала старая голову к небу и давай глазами меж сучьев шарить. – Не иначе сидит кто? Откуда бы помёту взяться?»

Осина, под которую ткнулась, когда надоело бродить по лесу, оказалась вплотную к ёлке, как бы в обнимку. Обе высокие и проросли ветками одна в другую. Чёрта лысого в такой густерне увидишь. Старая уж и так и эдак ладилась, и шею-то вытянет, и обнаружить-то себя боится, прямо в жар всю бросает. Потом спохватилась, как бы про ружьё опять не забыть, в карман полезла, тряпицу из кармана выудила. Патрон, который посветлее и вроде бы понадежнее, достала. И за ружьё... А ружьё – ствол ледяной, пальцы липнут. Осторожно, стараясь не клацать, переломила и в ствол кой-как с трудом застряла патрон окаянный... Не лезет. А как закрывать стала, лягнул дробовик – прямо потом всю до пят прошибло... Затаилась старая, вздрогнуть боится, не скоро в себя пришла. Наконец, волоча ружьё, на карачках, тихо-тихо, как только можно, стала пятиться от осины, чтобы на красном небе, на зорьке, сучья резче просматривались. Отпятилась сажён десять за кустики, замерла.

Тишина-а... Ёлка с осиной как на ладони, и ни-че-го! Ничегошеньки не видать. Уже глаза на лоб выкатились. Вроде каждый сучок, каждую веточку взглядом ощупала... Господи, господи, да откуда бы помёту-то взяться?

Старая буквально в пень обратилась и так, дрожа всем телом от холода и напряжения, просидела в кустах около часу, ловя каждый шорох, движение, любой подозрительный звук.

И дождалась...

В чёрных ветках вверху что-то ворохнулось с глухим коротким стуком и замерло. Зашуршала, падая, подпры-

гивая на ветках, сухая еловая шишка, покатила по насту вниз. И снова что-то сильно ворохнулось. И снова замерло... Минут через пять из чёрного кружева ветвей, из-за стволов выдвинулось на зарю расплывчатое тёмное пятно и медленно начало продвигаться по осинному суку вправо. Полетели вниз обломанные сухие веточки...

Больше старая ждать не стала. Как только чёрное пятно и чёрный сук отпечатались на красном небе, она подняла ружьё и грохнула, не целясь, прямо в закат. Гром, пламя, страшный удар в плечо, и старуха, выронив ружьё, растянулась на твёрдом снегу. И тотчас на коленках, почти вслепую, сквозь кусты, напролом поползла к осине. Разноголоное, как отдалённый гром, эхо перекачывалось у самого горизонта.

Сквозь густое облако дыма она не видела, как, тяжело путаясь в ветках, цепляясь за них, ломая, падал глухарь, скатывался вниз. Как, скатившись, грянул оземь и забился бородатой головой о твёрдый наст, мелко-мелко дрожа лохматыми лапами. И затих, вытянувшись.

Увидев пустой сук, без пятна, она вначале испугалась – куда подевался? Потом опомнилась, обежала вокруг осины... Ёе дичь, её добыча лежала тут, на снегу, неловко подломив крыло, огромная и неподвижная, взятая с бою. Какой-то звериный, древний звук родился у старой в животе, в утробе и, помимо её воли, вырвался из гортани клекочущим, торжествующим смехом.

Несколько успокоившись, она вспомнила, что стреляла старым патроном, не целясь, и тщательно осмотрела добычу. Ни пятен крови, ни видимых следов дробы, кажется, не было. Чувствуя, как у самой всё ещё звенит в ушах, лопаются что-то, усмехнулась, стягивая глухарю лапы гасником: «Контуженной, поди? Эдак-то грохнуло». И, стараясь больше не терять ни минуты, не мешкая, принялась укладываться в дорогу.

Наконец всё было готово, и, подхватив батожок, засемила старая по скрипучему насту вдоль оврага, держа закат постоянно с левой стороны. Но,

сгоряча пробежав шагов полтора, почуяла, как глухарь, вздетый, словно котомка через плечо, наливается непомерной тяжестью и до боли оттягивает ляжку. К тому же бородатая голова, как ни пыталась она подтянуть глухарину выше, волочится, стучаясь о пятки, а из клюва пузырится, мажется по снегу чёрная кровь. Пришлось остановиться и сделать из лыж какое-то подобие салазок, а добычу приторочить сверху на дробовик.

Пока возилась с лыжами, а потом выбиралась из оврага, путаясь в кустах, да пока отыскивала дорогу, по которой добиралась сюда утром, закат превратился в узенькую жёлтую полоску, едва сквозившую меж стволов. Подгоняемая темнотой, страхом, пробежала она в гору не меньше версты и, притомившись, наконец, встала, с трудом переводя дыхание и озираясь. Постояла, поправила выбившийся из-под шали мокрый платок и уже медленнее тронулась дальше. Здесь было совсем темно, и только чёрный лес по обеим сторонам да белая расплывчатая дорожка кой-как ещё угадывались глазом. Так и шла, пугаясь то куста на дороге, то поворота, за которым непременно что-то таилось и должно случиться.

И вдруг, словно в подтверждение тоскливым мыслям, из-за спины в полуверсте, а может и дальше, прорезался истошный собачий вой, и звук, словно бы истончаясь до комариного писка, иголкой вошёл в череп. Старуху так с головы и до пят продрало морозом...

Встала, как вкопанная. И не сразу поворотилась. А когда поворотилась, всё было тихо. Глянула вверх: на тёмном небе чёрные вершины раскачиваются, кивают. Выдохнула из груди спёртый воздух... Хрип, вой. Да что же это, в горле, что ли, воет? Ещё раз выдохнула-выдохнула... Воет. Откашлялась хорошенько и успокоилась. Почудилось, не иначе. Да и откуда бы тут собаке быть? Вой-то собачий? Да вовсе не собачий, а волчий вой... Волчий? Не уж волки?.. Да ведь почудилось же, в горле выло. Глаза у страха...

И уж одно к одному, вспомнилось, как в прошлый год последнего кобелька на деревне, лохматого, дурашливого Шарика, среди бела дня вытащили у них из подворотни волки. Сама же потом, обливаясь слезами, рассказывала бабам:

«Глянула я в окошко, а оне уж тащат. Один в голову вцепился, другой в зад, рвут друг у дружки, только лапы у Шарика моего болтаются. Старика кричу, прямо сердце заходится. А он, босый, с поленом на снег выскочил, сам Шарик-то щенком у Фаддея брал... Да куда там, разодрали. Только кишочки собачьи по снегу разматываются».

Вспомнила и опять перекрестилась: «Господи, господи, только бы на угор взойти, а там... Там уж и дома». Успокаивая себя, уговаривая, она шла всё быстрее и быстрее, порой едва не бежала, и хотя действительно дышала хрипло, со свистами, воем, а всё не могла отделаться от тошнотворного страха: а вдруг?

Вскоре из леса и в самом деле показался угор, большая белая поляна с одинокой берёзой в центре, от которой хотя и отлого, но дорога шла уже вниз до самой Таволжанки. Поравнявшись с берёзой, старая остановилась было поправить одежду, вздохнуть... и вдруг опять, но явственнее и ярче, ближе, и почему-то справа от дороги, а не сзади, точь-в-точь так же прорезался вой. И опять мороз продрал старую с головы до пят. Но уже не остановилась осмотреться, прислушаться, а что было сил, часто-часто подпираясь батошкой, засеменяла с поляны прочь по узкой, едва заметной просеке в чёрную громаду леса. И всё равно не была ещё уверена вполне – вой или не вой? Ну, а если вой, то почему справа, а не сзади, не с дороги? И почему так близко?

И вдруг старуху поразила страшная догадка: ведь дорога-то на угор даёт сильного крюку, а они разделились... Одни сзади следом, а другие правее вдоль дороги и наперерез... Перекликаются. Да они же через пять минут будут здесь!

Вмиг старуха отяжелела, ноги стали ватными, и уже, как в кошмарном сне, казалось ей, что едва ползёт она по бесконечной равнине – вся на виду, медленно двигая пудовыми ногами, а сзади огромными прыжками приближается, настигает, наваливается смрадное, зловонное... С клыками! Не смея ни обернуться, ни поднять глаз, остановилась, нагнулась над лыжами, деревянными пальцами отвязала глухаря, ружьё. Глухаря за спину, встала на лыжи и толкнулась, пошла, поехала под гору всё быстрее, быстрее, быстрее. Она вспомнила вдруг, что метров через триста-четыреста дорога должна резко свернуть влево и ещё круче пойдёт вниз, а это значит, те, которые справа идут наперерез, останутся в стороне, далеко сзади.

Широко расставив лыжи, глядяваясь изо всех сил в стремительно выворачивающиеся кусты, зигзаги, старуха тенью скользила по мрачному лесу и сквозь шорох и скрежет лыж чутко ловила лесные звуки. Ветер сбил на затылок шаль, платок и, обжигая лоб, хлестал седые волосы.

И в третий раз, но теперь уже слева и много впереди в ушах всё тот же раздался вой...

Они, теперь стало ясно, шли цепью: справа, сзади и слева, и после поворота тотчас старуха выезжала на левое крыло цепи. Ещё минута, и...

На миг, только на миг отвлеклась старая на вой, слегка поворотила голову, и тот же час случайная рытвина, перепад, и она, теряя равновесие, с треском раздирая на ленты зипун, вломилась в кусты и свалилась далеко за обочиной. Сверху зашуршало, посыпались на голову какие-то палки, сучья, сухой лист. И ещё не успев вскочить, старуха догадалась: повалила навес от дождя. До войны тут, помнится, драли корьё. Под ногой с сухим, звонким треском хряпнула ветка. Кол, попавший под руку, тоже оказался сухим и лёгким. Исцарапав руки, лицо, мигом сгребла всё в кучу и со спичками в руках припала возле. В висках тяжело, часто бухала кровь. Старуха сжалась, ожидая вдруг

прыжка, страшного удара в спину, смерти... А деревянные пальцы, словно и не её, медленно-медленно крутили коробок, поворачивая его картинкой вверх, чтобы не рассыпать спички, выдвинули, и не с того конца, задвинули, выдвинули во второй раз, теперь с другого, долго-долго цепляли спичку и, когда зацепили и чиркнули, головка отломилась и отскочила далеко на снег, зашипела... Вторая спичка обломилась и даже не вспыхнула. Третья, четвёртая...

Весь день с утра Агафон проворочался с боку на бок, так и не сомкнул глаз. А к ночи, когда и углов в избе не видеть стало, ему вовсе сделалось не до сна. Агафон уж и так и сяк прикидывал. Заплутать в тех местах, куда ушла утром старая, вроде и не мудрено, но ведь не раз и не два по Хорошавинской дороге вместе бывали. Да мало ли что может приключиться в лесу с человеком? Наконец, встревожился не на шутку.

И вдруг... выстрел. Чуть слышный.

Агафон охнул и сел, наставил в окно седое огромное ухо. По звуку версты полторы-две, не меньше того будет. Темень эдакая, по кому бы это?... Ах ты! Да ведь знак подаёт старая. Никак стряслось чего? Повредилась, поди, не иначе...

Дед сполз с постели и, придерживая подштанники, на непослушных ногах проковылял к окну: «Не выпалит ли вдругорядь?» Нет, тихо всё. Слышно даже, как шебаршится в подполе мышь. Со стонами, скрипом старик начал собираться, отыскивая впотьмах, на ощупь, чего бы такое надеть. Наконец, койкак обулся-оделся и поковылял в сени – взять фонарь и, была не была, идти за Таволжанку, искать старуху. Но пока, скрючившись, разыскивал этот распроклятый фонарь да начал заправлять его остатками керосина, вдруг снаружи послышался скрип наста, и через мгновение в окошке мелькнула и исчезла быстрая тень. Заскрипели ступеньки...

Агафон чиркнул спичкой, засветил фонарь и обернулся к двери. На пороге стояла старуха. Простоволосая, ни платка, ни шали, без рукавиц, вся в

снегу. И глухарь... Она прижимала глухаря к груди, как ребёночка, крепко придерживала за стянутые гасником лапы.

Агафон вскинул фонарь над головой, шагнул к старухе. Она вдруг шатнулась в сторону, прижимая теснее птицу, выставила руку... Агафон стоял, озадаченный.

– Да ты никак не в себе, а, мать?

С глухим, мёрзлым стуком глухарь упал на пол.

– Тсс!!!

Старуха хлопнула дверь, быстро накинула крючок. Постояла, озираясь, и мимо Агафона, крадучись, засеменила к окну. Влипла носом в стекло.

– Тсс... Волки...

На старухиной спине, на боках из зипуна ключьями торчала вата, свисали лоскутья. Наконец, она села, задёрнув занавески, обессиленно упала на лавку. Заплакала.

– Эко ведь запугала себя старая. Всё не в уме будто, – пробормотал Агафон, начиная понемногу соображать, в чём тут дело. – Да кабы волки, не сидеть бы теперь здесь...»

И полез в шкафчик за самогонкой, что-то роняя там, гремя посудой. «Не надо... не надо одну-то пущать было. В одиночку человек легко разум теряет». Агафон засопел, захлюпал и подозрительно долго возился и шарил в ненужном ему шкафчике.

«Старому, вишь, дурню мясца захотелось. Ох, жаль моя... голубка. Далась же тебе эти волки».

...На другой день, глядя, как старуха ошпаривает перед жаркой печью ошпаренного кипятком глухаря, он в который уже раз слушал про её приключения, хмыкал, крутил головой. Приходили весь день соседки, охали, вздыхали, уносили кто кусок ножки, кто крылышко. А ввечеру, обсасывая наконец-то глухаринные косточки, Агафон глянул на широко разведённые бабкины руки, на азартно вытаращенные глаза, румяные щёки и поневоле усмехнулся. «А уж и врёт, поди-ко, старая, е-ей... В глаза врёт».

Тяжёлая Агафонова рука ласково опустилась на старухино плечо.

